



## ПУБЛИКАЦИИ И КОММЕНТАРИИ

С. В. Березкина

### ИЗ ИСТОРИИ ПОЛЕМИКИ ПУШКИНА С КАРАМЗИНЫМ Эпиграмма «От многогочения отрекшись добровольно»

Четверостишие «От многогочения отрекшись добровольно» доныне остается совершенно закрытым для понимания пушкинистов произведением<sup>1</sup>. Вот текст этого стихотворения Пушкина:

От многогочения отрекшись добровольно,  
В собрание полнои слов не вижу пользы я;  
Для счастья души, поверьте мне, друзья,  
Иль слишком мало всех, иль одного довольно (II, 456).

Открыта эпиграмма «От многогочения отрекшись добровольно» была сравнительно недавно. В 1934 году ее напечатал М. А. Цявлковский в статье «Автографы Пушкина и его архив»<sup>2</sup>. Четверостишие было обнаружено им при исследовании так называемой Тетради Всеволожского<sup>3</sup>. Установлено, что эта тетрадь (она дошла до нас не в полном объеме) составлялась Пушкиным в ноябре 1819 — апреле 1820 года как цензурная рукопись первого сборника его стихотворений. Предприятие это постигла неудача, тетрадь же со стихами Пушкина на долгие годы оказалась в распоряжении его приятеля Н. В. Всеволожского. Вновь в руки поэта тетрадь попала лишь в марте 1825 года, когда ее, выкупив у Всеволожского, прислал в Михайловское для работы над изданием Л. С. Пушкин. С середины марта до конца апреля 1825 года над Тетрадьио Всеволожского работал Пушкин, который затем отправил ее с А. А. Дельвигом в Петербург друзьям, занятым изданием его стихотворений<sup>4</sup>.

Первый комментарий эпиграмме «От многогочения отрекшись добровольно» дал ее публикатор. М. А. Цявлковский считал, что автограф эпиграммы появился в процессе редактирования Пушкиным Тетради Всеволожского: «Получив в 1825 году рукопись, Пушкин (в дошедшей до нас части) в 29 стихотворениях сделал исправления, а 7 стихотворений зачеркнул. Предвидя, что Плетнев, Жуковский и брат будут возражать против этого исключения, Пушкин, окончив свою работу по правке рукописи... написал стихи, до сих пор оставшиеся неизвестными»<sup>5</sup>. С критикой этой гипотезы выступил Б. В. Томашевский, полагавший, что тема «счастья души» не может быть связана с исключением из готовившегося сборника слабых произведений Пушкина: «Это не более чем мадригал или галантная сентенция в духе французской антологической поэзии, влияние которой на Пушкина после 1820 года начинает быстро иссякать. Это зашиф-

рованное “одно слово”, от которого зависит “счастье души”, очевидно, слово “люблю”, вполне выражающее то чувство, для совершенного выражения которого “слишком мало всех слов”»<sup>6</sup>.

Принципиальную важность в разработке комментария эпитаграммы «От многогочения отрехшись добровольно» приобрел единственный, но чрезвычайно красноречивый вариант ее второго стиха: «В огромном словаре не вижу пользы я». В одной из работ Томашевского, где упоминалось о тексте «От многогочения отрехшись добровольно» (свое мнение о нем исследователь неоднократно менял), высказано предположение о том, что исправление второго стиха было осуществлено Пушкиным в тот момент, когда он, начав переписывать в Тетрадь Всеволожского созданное ранее стихотворение, изменил его замысел. Первая редакция четверостишия с упоминанием об «огромном словаре» была вызвана, по мнению исследователя, выходом в свет второго издания «Словаря Академии Российской», закончившегося в 1822 году; в 1825 году упоминание о словаре уже не было актуальным, и Пушкин изменил текст четверостишия. Томашевский считал, что взамен «словаря» Пушкиным было употреблено более «общее выражение»<sup>7</sup>. Развивая эту гипотезу, Т. Г. Цявловская связала «шутливое» четверостишие «От многогочения отрехшись добровольно» «с подпиской на какое-нибудь издание словаря русского языка»<sup>8</sup>.

Таков объем мнений, высказывавшихся пушкинистами в процессе комментирования текста «От многогочения отрехшись добровольно». К этому нужно еще добавить большой разбой в датировке эпитаграммы. В различных изданиях указывается и на март 1825 года<sup>9</sup>, и на первые годы пребывания Пушкина на юге, а затем на март 1825 года как время записи его (с доработкой) в Тетрадь Всеволожского<sup>10</sup>, и на июнь (не ранее 11-го) 1817 — 15 марта 1825 года (II, 1176), и на 13 марта — 24 апреля 1825 года<sup>11</sup>. Отправной точкой в датировке эпитаграммы являются особенности рукописного текста «От многогочения отрехшись добровольно»: это перебеленный автограф, с поправкой во втором стихе, записанный на полях копии лицейского стихотворения Пушкина «Роза» (1814–1816)<sup>12</sup>. Тетрадь Всеволожского находилась в распоряжении Пушкина в ноябре 1819 — апреле 1820 года и марте–апреле 1825 года, однако все собственноручные записи в ней поэта (правка в текстах, фигурные росчерки, наконец, автограф «От многогочения отрехшись добровольно»), в отличие от писарских копий, были сделаны, как установил Б. В. Томашевский, в Михайловском. На этом основании автограф четверостишия может быть отнесен только к 1825 году, хотя его замысел, обнаруживающий связи с событиями жизни литературного Петербурга 1818–1819 годов, не позволяет сбросить со счетов предположение о том, что рукописный текст «От многогочения отрехшись добровольно» представляет собой запись созданного ранее произведения и поэтому его датировка должна охватывать более длительный период.

Упоминание об «огромном словаре» в варианте второго стиха эпитаграммы не было до настоящего времени должным образом проанализировано в контексте сведений по истории русской лексикографии. Между тем знакомство с трудами лингвистов, посвященными истории русских словарей, позволяет дать, по моему мнению, исчерпывающий комментарий пушкинского четверостишия. Как оказалось, стихотворение «От многогочения отрехшись добровольно» — это вовсе не «мадригал» и не «галантная сенсация в духе французской антологической поэзии», а эпитаграмма, которой Пушкин откликнулся на отзыв Н. М. Карамзина о «Словаре Академии Российской». Комментарий этой эпитаграммы дает существенное дополнение к картине взаимоотношений Пушкина

с Карамзиным, которые, как известно, носили далеко не безоблачный характер. Что же явилось толчком к созданию этого произведения?

Обратимся еще раз к автографу эпиграммы «От многоречия отрекнись добровольно». Начало ее было записано Пушкиным следующим образом:

От многоречия отрекнись добровольно,  
В огромном словаре не вижу пользы я...

«Прикрепить» к этим стихам вторую половину эпиграммы не удастся, поскольку в первоначальной записи стихов 1–2 нет существительного (в окончательной редакции это «слов»), которое можно было бы отнести к местоимениям «всех» и «одного» в четвертом стихе. Видимо, Томашевский был прав, когда писал, что текст стихотворения был изменен Пушкиным в процессе его белой записи (т. е. после исправления ст. 2). С исследователем трудно согласиться в другом — в оценке соотношения двух редакций, первоначальной, о которой мы все-таки можем судить по записи в автографе ст. 1–2, и окончательной. Вопреки мнению Томашевского, Пушкин не менял свой замысел, поскольку выражение «собрание полное слов» не является «более общим» по сравнению с «огромным словарем». В этом выражении, кстати, как это видно из публикаций эпиграммы во всех изданиях Пушкина, обособленного определения нет (как, например, здесь: «собрание, полное слов»), а есть только инверсия, без которой оно должно было бы звучать так: «полное собрание слов». В первой же четверти XIX века выражение «собрание слов» было довольно популярным и употреблялось в качестве синонима «словаря».

Так, выражение «собрание слов» очень любил А. С. Шишков, возглавлявший Российскую академию — признанный центр лексикографической работы в России. В статье «Некоторые замечания на предполагаемое вновь сочинение Российского Словаря» он утверждал: «Все иностранные слова должно исключить из Словаря», ибо они «не наши» и «не должны иметь места в Словенском или Российском *собрании слов* <выделено, как и в других цитатах данного абзаца, мною. — С. Б.>»<sup>13</sup>. Другой, весьма красноречивый пример взят из выступления Шишкова на январском заседании Российской академии 1822 года, где им были предложены проекты словарей под следующими наименованиями: «Словарь технический, или *Собрание слов*, употребляемых в науках, художествах, ремеслах...», «Словарь словесных наук, или *Собрание слов*, употребляемых в умословии, стихотворстве, истории, риторике и грамматике»<sup>14</sup>. О том, насколько распространенным было выражение «собрание слов», может свидетельствовать и позднее высказывание П. А. Вяземского, который в российских словарях усматривал следующий недостаток (эти слова были добавлены им к тексту из записной книжки пушкинского времени при подготовке его к первой публикации): «Жаль, что в наших словарях не приводят примеров различного употребления слов и выражений, какими являются они в разных литературных эпохах и у разных писателей. Наши словари — донныне более или менее *полное собрание слов*, а не указатели языка, как французские словари, по каким можно пройти почти полный курс истории французского языка и французской литературы»<sup>15</sup>.

Итак, и в первоначальной, и в окончательной редакциях эпиграммы Пушкин говорит об одном и том же — о словаре. «Полным» собранием слов в первой четверти XIX века можно было назвать только «Словарь Академии Российской». Огромный объем

сведений из истории русской лексикографии указанного периода, включающих в себя и отклики литераторов, в том числе журнальные, на задуманные или осуществленные издания, приведен в труде С. К. Булича<sup>16</sup>. Дав оценку вышедшим в первой четверти XIX века разного рода словарям и публикациям лексических материалов, Булич закончил свой обзор следующими словами: «Наиболее крупными явлениями... могут быть признаны лишь второе издание словаря Российской академии и собрание областных слов, предпринятое московским Обществом любителей российской словесности<sup>17</sup>. Остальное представляет собой частью “плененной мысли раздраженье”, в роде проектов Шишкова, частью не состоявшиеся или не доведенные до сколько-нибудь прочного результата предположения и начинания»<sup>18</sup>. Поэтому, думаю, комментатор эпиграммы «От многоречия отрекшись добровольно» не ошибется, если сосредоточит свое внимание на одном «полном» собрании слов, весьма примечательном к тому же по своей истории, а именно: на втором издании «Словаря Академии Российской». Любопытные сведения об отношении поэта к этому труду собраны в статье Е. А. Левашова «Пушкин и академические толковые словари»<sup>19</sup>. Проанализировав ряд высказываний Пушкина (в их число, к сожалению, не попала эпиграмма «От многоречия отрекшись добровольно»), исследователь пришел к выводу, что у поэта к словарю было «отношение двойственное: с точки зрения исторической, он видит в нем достойнейший памятник предшествующей эпохи, не потерявшей для многих своего направляюще-нормативного характера; подходя же к нему с меркой современных (своих) потребностей, он не находит его отвечающим назревшим задачам»<sup>20</sup>. Эта оценка нуждается в уточнении на основе более внимательного анализа тех строк из наследия Пушкина, где поэт касался академического словаря.

Первое («словопроизводное») издание словаря вышло в 1789–1794 годах (именно оно представляло «Словарь Академии Российской» в библиотеке Пушкина). Его переиздание, «по азбучному порядку расположенное», началось в 1806 году; затем в 1809 вышел том второй, в 1814 — третий, наконец, в 1822 году — тома четвертый, пятый и шестой. Судя по упоминаниям в текстах Пушкина, он, как это и написано в главе первой «Евгения Онегина» (об этом подробнее см. ниже), изредка «заглядывал» в академический словарь и знал о допущенных в нем пробелах в отражении русской лексики. Причем его интерес к этой стороне издания был обусловлен в первую очередь критическим отношением к деятельности Шишкова. Отсутствие в академическом словаре того или иного слова Пушкин напрямую связывал с его воздействием. Например, в письме к Н. И. Гречу от 21 сентября 1821 года Пушкин, сожалея об исключении цензурой строки со словом «вольнлюбивый» из текста послания к Чаадаеву «В стране, где я забыл тревоги прежних лет» (1821), выразил надежду на то, что «А. С. Шишков даст ему право гражданства в своем словаре, вместе с шаротыком и с топталищем» (XIII, 32). Действительно, в академическом словаре слова «вольнлюбивый» не было, и оно попало туда только в издании 1891 года. Выпуск, включавший в себя слова на букву «веди», вышел в свет во втором издании в 1806 году, когда президентом Российской академии был А. А. Нартов. Поэтому, думается, выражая надежду на то, что Шишков даст «право гражданства» слову «вольнлюбивый», Пушкин имел в виду не второе издание «Словаря Академии Российской» (а именно так считали составители большого академического собрания сочинений поэта — см.: XVII (Справочный том), 400). Вероятнее всего, в письме к Гречу речь шла о «корневом» словаре — любимом проекте Шишкова, о котором он писал с 1815 года (над этим начинанием президента Российской академии много потешались «карзамасцы», а Пушкин в позднейшие годы, став членом академии, очень раздражался бесконечными шишковскими «корнеслови-

ями). От этого начинания, помимо общих рассуждений, осталось в истории русской лексикографии несколько невинных и не значительных с научной точки зрения публикаций Шишкова.

Другое упоминание об академическом словаре находим в письме Пушкина к брату от 13 июня 1824 года, написанном после назначения Шишкова на пост министра народного просвещения: «На каком основании начал свои действия дедушка Шишков? Не запретил ли он “Бахчис.<арайский> Фонтан” из уважения к святине Академического словаря и неблажно составленному слову *водомен?*» (XIII, 98). Остроумное суждение Пушкина основано на ошибочном предположении, поскольку слово «фонтан» в академическом словаре, причем и в первом и во втором издании было. Во втором издании поэт мог увидеть его в шестом выпуске, вышедшем в 1822 году. Однако, по-видимому, не заглянул в него... Показательно, что и в этом случае предположение об отсутствии слова в «Словаре Академии Российской» связывается Пушкиным с идеями Шишкова.

Высказывания Пушкина 1821 и 1824 годов становятся особенно интересны, если сравнить их с тем умолчанием, которое сделал Пушкин в напечатанной им на страницах «Современника» статье «Российская Академия» (1836). В ней Пушкиным был дан обзор деятельности академии в период президентства А. А. Нартова, а после его смерти А. С. Шишкова. Перечисление деяний, совершенных каждым из них на посту председателя Российской академии, обнажало полную никчемность административной и научной деятельности Шишкова. При этом Пушкин отнес «словарь, расположенный по азбучному порядку», к плодам деятельности Нартова, умершего в 1813 году, хотя четыре из шести выпусков этого словаря выпали на президентство Шишкова (реальное участие он принимал в выпуске только трех последних). В статье Пушкина словарь вообще не числится в реестре изданий, подготовленных шишковской академией (см. XII, 43).

Эти высказывания не исчерпывают всех упоминаний о «Словаре Академии Российской» в наследии Пушкина. Их анализ будет в статье продолжен, пока же необходимо дать оценку приведенным высказываниям. Отношение Пушкина к академическому словарю было насмешливо-негативным и направлялось преимущественным образом на выявление его недостатков. На первом этапе они связывались с деятельностью Шишкова, с одной стороны, отказывавшего в «праве на гражданство» целой области языка: новой русской литературы, а с другой, навязывавшего своим современникам архаичные и неблагозвучные языковые формы. В конце жизни негативное отношение Пушкина к Шишкову приняло иное выражение: он вычеркнул самое имя его из истории «Словаря Академии Российской»<sup>21</sup>.

Думаю, Пушкин сумел оценить реальный вклад Шишкова во второе издание «Словаря Академии Российской» благодаря общению в 1830-х годах со столь серьезным по своим познаниям и занятиям лингвистом, как о. Герасим Павский. Это предположение тем более вероятно, что Павский имел самое негативное отношение к деятельности Шишкова<sup>22</sup>. Второе издание «Словаря Академии Российской» не получило того выдающегося значения, которое справедливо связывается в истории русской лексикографии с его первым изданием. Расширение словника во втором издании, на первый взгляд довольно значительное, произошло вследствие распадаения «по азбучному порядку» словарных гнезд, а не из-за введения в него не учтенных ранее слоев русской лексики (она была весьма скудной). Сам Шишков писал в 1815 году о новом издании академического словаря: это «есть не иное что, как тот же самый словарь»<sup>23</sup>. Переизданный «Словарь Академии Российской» был для своего времени архаичным явлением, поскольку

не отражал ломку старых лексических норм, приведшую к появлению в литературе новой стилистики и расширению струи живой речи в составе русского литературного языка<sup>24</sup>.

Обратимся теперь непосредственно к анализу пушкинской эпитаграммы «От многогочия отрехкись добровольно...» и событию, ее вызвавшему. Заявленное в стихотворении отрицательное отношение к академическому словарю, причем вне зависимости от того, первое или второе издание имеется в нем в виду, несет на себе отпечаток активной антишишковской позиции молодого Пушкина. Какими бы ни были принципы нового, второго издания, словарь для Пушкина — это символ Российской академии, это внушающая антипатию фигура Шишкова, весьма воинственная по своим идейным устремлениям. Не заостряя на этом внимание, отмечу в эпитаграмме оттенок не чуждого Пушкину пренебрежения к плодам углубленных научных занятий<sup>25</sup>. Отношение поэта к «Словарю Академии Российской» приобретает особый смысл, если сравнить его с высказываниями Н. М. Карамзина. Думаю, именно на них отреагировал Пушкин в своей эпитаграмме о «собранье полном слов».

К одному из самых ярких публицистических выступлений Карамзина относится «Речь, произнесенная на торжественном собрании императорской Российской академии»<sup>26</sup> (под таким заглавием она печатается в собраниях сочинений писателя). Произнесена она была 5 декабря 1818 года на заседании по случаю избрания Карамзина членом Российской академии, а напечатана в первых числах января 1819 года на страницах «Сына отечества». Выступление Карамзина в стенах Российской академии слушал А. И. Тургенев, который писал о нем Вяземскому 11 декабря 1818 года: «“Здесь все для души”, — сказал он в четверг бездушной Академии<sup>27</sup>, и голос его отдался в душе арзамасцев, которых заслонил широкопузый Шаховской с тщедушной братиею. Это было торжество не Академии, но Арзамаса... Все было внимание, и он не произносил речи, но, кажется, как детей, наставлял своих слушателей... Но бледная зависть и глупая глупость мальчика выразилась в досаде, с которою он сказал самому Карамзину, помнится: “Будет и на нашей улице праздник”... Карамзин отвечал ему дружелюбно. Другой, услышав слово “симпатия”, может быть единственное не русское во всей речи, уходя, говорил: “В российской Академии — французские слова! Вот до чего мы дожили!” Но, впрочем, большинство на стороне Арзамаса. Даже и сенаторы слушали с умилением. Я сделал только одно замечание. Не помню по какому поводу, Карамзин сказал: “Ибо и власть самодержцев имеет свои пределы”, или что-то подобное<sup>28</sup>. В Европе это почли бы... пошлою истиною; у нас — верно, дерзостью, которую вслух говорить опасно»<sup>29</sup>.

Пушкин познакомился с текстом речи Карамзина раньше ее обнародования. 22 сентября 1818 года он вместе с Жуковским, А. И. и Н. И. Тургеневыми слышал ее в Царском Селе в чтении Карамзина (об этом сообщал в письме от 25 сентября 1818 года Вяземскому Александр Тургенев, назвавший речь «прекрасной») <sup>30</sup>. Часть выступления Карамзина была посвящена «Словарю Академии Российской». Прежде чем указать те места в ней, на которые, как я думаю, подал реплику в эпитаграмме «От многогочия отрехкись добровольно» автор, остановимся на характеристике этапа во взаимоотношениях поэта с Карамзиным, приходящегося на осень 1818 года.

В истории взаимоотношений Карамзина и Пушкина события осени 1818 года имели, по мнению Н. Я. Эйдельмана, особое значение. 30 сентября 1818 года Карамзин сообщил в письме Вяземскому о своем намерении 7 октября переехать из Царского Села в Петербург и «пить чай с Тургеневым, Жуковским, Пушкиным»<sup>31</sup>. В связи с этими планами Эйдельман писал: «То ли на этом самом октябрьском вечере, то ли чуть позже, но между Пушкиным

и Карамзиным что-то происходит. Ведь прежде переписка современников и другие данные свидетельствуют о постоянных встречах; имена Пушкин и Карамзин постоянно соединяются. Однако с октября 1818 года общение прерывается. Никаких сведений о чашепитиях, совместных поездках, чтении, обсуждении... Ничего. Только один раз, по поводу выдворения Пушкина от злой горячки (8 июля 1819 года), Карамзин замечает: «Пушкин сласен музами»<sup>32</sup>.

Эти выводы Эйдельмана рассмотрел в статье «Эпиграммы Пушкина на Карамзина» В. Э. Вацуру. Поскольку Эйдельман считал, что поводом к ослаблению контактов с Карамзиным послужила эпиграмма «В его “Истории” изящность, простота», написанная Пушкиным на «Историю Государства Российского» и дошедшая до адресата, как он полагал, именно в октябре 1818 года<sup>33</sup>, В. Э. Вацуру особо остановился на вопросе о том, существовал ли подобный конфликт в действительности. При этом оба исследователя исходили из одного и того же письма Пушкина, где сообщалось о каких-то неурядицах на почве его взаимоотношений с Карамзиным: «...что ты называешь моими эпиграммами противу Карамзина? — спрашивал он у Вяземского 10 июля 1826 года, — довольно и одной, написанной мною в такое время, когда К.<арамзин> меня отстранил от себя, глубоко оскорбив и мое честолюбие, и сердечную к нему приверженность. До сих пор не могу об этом хладнокровно вспомнить. Моя эпиграмма остра и ничуть не обидна, а другие, сколько знаю, глупы и бешены...» (XIII, 285–286).

По мнению В. Э. Вацуру, «признание Пушкина в письме к Вяземскому, что эпиграмма <на историю Карамзина> была написана им под впечатлением глубокой личной обиды, следует поставить под сомнение»<sup>34</sup>. Он считал, что «версия конфликта, оскорбившего Пушкина», подана в его письме «нарочито завуалированно и даже двусмысленно (ее можно понять и как “отдаление” и как “ссору”)<sup>35</sup>. Исследователь принимал первое из возможных толкований, т. е. постепенное отдаление Пушкина от Карамзина. С этим выводом трудно согласиться, поскольку в письме, как мне кажется, ясно сказано о том, что нечто в действиях Карамзина «глубоко оскорбило» Пушкина, причем так, что он и в 1826 году не мог вспомнить об этом «хладнокровно». Трудно представить, что Пушкин решил человеку, столь близкому к семье историка, только намекнуть на ссору с Карамзиным, которой на самом деле будто бы не было... Попытка Эйдельмана датировать конфликт между Карамзиным и Пушкиным вполне правомочна. Его датировка подтверждается наблюдениями, сделанными на основе материалов Остафьевского архива, указанных в «Летописи жизни и творчества Пушкина» М. А. Цявловского как подтверждение следующего сообщения: с 5 <?> октября 1818 года по 3 мая 1819 года Пушкин бывал «у Карамзиных, приехавших из Царского Села и поселившихся в доме Е. Ф. Муравьевой»<sup>36</sup>. Однако в источниках, на которые ссылается автор «Летописи...», речь идет не о Пушкине, а о Карамзиных и времени их пребывания в доме Муравьевой<sup>37</sup>.

В пушкиноведении было много споров о корпусе эпиграмм поэта на Карамзина; убедительный итог подведен в работах В. Э. Вацуру<sup>38</sup>. Наиболее взвешенное решение связывается современной наукой с двумя произведениями Пушкина: это, во-первых, лицейская эпиграмма «Послушайте, я сказку вам начну», а во-вторых, написанная, по-видимому, в 1818 году эпиграмма «В его “Истории” изящность, простота». Не думаю, что этот ряд должен быть продолжен еще одной, а именно — «От многоречия отрекшись добровольно». Это не эпиграмма на Карамзина, поскольку в ней нет свойственной этому жанру сатирической остроты. Это просто ответ Пушкина на ряд положений, высказанных в речи Карамзина. Тем не менее четверостишие «От многоречия отрекшись добровольно» могло сыграть какую-то роковую роль во взаимоотношениях Пушкина с Карамзиным осени 1818 года, поскольку в ответе молодого поэта не было свойственного окружению масти-



того историка шлет перед его мнениями. Думаю, для Карамзина могло стать полной неожиданностью выражение столь резкого несогласия с ним в произведении еще только становящегося на ноги автора.

Речь Карамзина очень часто цитируется историками литературы, поскольку в ней вжатой, афористической форме излагаются очень важные для понимания его позиции взгляды на соотношение национального и общечеловеческого в культурной жизни народа. В день выступления Карамзина шишковская академия услышала немало суждений, которые трактовали вопросы развития языка, изящной словесности, просвещения в направлении, противоположном ее деятельности. И все-таки в карамзинской речи была сторона, которую «арзамасец» Пушкин, судя по его эпиграмме «От многоречия отрехшись добровольно», решительно не принял.

В своем выступлении Карамзин дал высочайшую оценку академическому словарю: «Академия Российская ознаменовала самое начало бытия своего творением, важнейшим для языка, необходимым для авторов, необходимым для всякого, кто желает предлагать мысли с ясностию, кто желает понимать себя и других. Полный словарь, изданный Академиею, принадлежит к числу тех феноменов, коими Россия удивляет внимательных иностранцев»<sup>39</sup>. Карамзин настаивал на особой роли академического словаря в творческой работе писателя: «Утвердив значение слов, избавив писателей от многотрудных изысканий, недоумений, ошибок, Академия предложила и систему правил для составления речи...»<sup>40</sup>. Если сопоставить эти высказывания Карамзина с первой частью эпиграммы о «собрании юном слов», то мы получим следующее соотношение: Пушкин, прибегавший в выражении чувств и понятий, причем вовсе не обыденных или приземленных, к помощи слов, которые «Словарь Академии Российской» не удостоил своим вниманием, высказывает решительное несогласие с Карамзиным и отказывается признать за этим изданием руководящую роль в своей творческой работе. Молодой Пушкин не видит для себя «пользы» («огромном словаре»), поскольку с лицейских лет привык считать, что творческая работа нуждается в природном даровании и вдохновении, а не в трудах «ремесленников», повешущих, подобно Сальери, «алгеброй гармонию» (см. в сцене I «Моцарта и Сальери»). В упущости, мысль, выраженная в эпиграмме «От многоречия отрехшись добровольно», — мысль пушкинская, многократно и на разные лады выражавшаяся поэтом на протяжении всего его творческого пути.

Но о каком же счастье, споря с Карамзиным, говорит Пушкин в своей эпиграмме? Часть выступления Карамзина была посвящена размышлениям об особом счастье, даруемом человеку творчеством. «Самолюбие грубое, — писал Карамзин, — довольствуется и *немою* хвалою: она нема, когда не изъясняет своего предмета: но самолюбие ежечасное требует хвалы *красноречивой*: она красноречива, когда изображает хвалимое» (ср. у Пушкина: «От многоречия отрехшись добровольно»)<sup>41</sup>. Писатель делился своим личным опытом: «Но ежели слава изменяет, то есть другая, вернейшая, существеннейшая награда для писателя, от рока и людей независимая: *внутреннее услаждение ситительного таланта*, изъясняющее для нас удивительную любовь к трудам и терпение, коему мы обязаны столь многими бессмертными творениями и которое Бюффон зваливал *превосходнейшим даром*: ибо не одни сочинители фолиантов, не одни антикварианты имеют нужду в терпении — оно, может быть, еще нужнее для великого поэта, для великого оратора или великого живописца природы. “Удаленный от света и, — сказал не, в юности моей, старец Виланд, — не имея ни читателей, ни слушателей, в дикой устине, среди необитаемого острова, я в восторге беседовал бы с уединенною музою, сутомимо исправляя стихи мои, хотя бы и неизвестные миру”. Вот тайна писателей, често, но не всегда ласкаемых славою! Сильная мысль, истина, красота образа, выразительное слово, внезапно представляясь уму, оживляют душу и питают ее таким чис-



гям, полным, ей *сродным* удовольствием, что она в дни счастливые минуты забывает всякое иное земное счастье»<sup>42</sup>. Наконец, он обращался к молодым дарованиям: «Призываю вас к учению и к трудам: в них найдете для себя благороднейшие, неизъяснимые приятности — награду, которая выше похвал и славы!»<sup>43</sup> Можно себе представить, как 22 сентября 1818 года звучал этот призыв из уст Карамзина в царскосельской аудитории, где генерацию молодых дарований представлял один Пушкин!<sup>44</sup> Вполне вероятно, что вторая часть его эпиграммы была полемическим ответом именно на эти размышления Карамзина. Автор эпиграммы хотел вернуть статус высшего «счастия» радостям земным. Они, а не «учения и труды», как утверждал Карамзин, — источник творческих успехов поэта. Возможно, прав был Томашевский, когда писал, что под «одним» словом, «зашифрованным» в эпиграмме, подразумевалось слово «люблю». Выражение пренебрежения к своей авторской славе при воспоминании о благосклонности любимой женщины не является редкостью в произведениях Пушкина.

В эпиграмме «От многоречия отрекшись добровольно» мысль поэта выражена очень энергично, напористо. Пушкин ответил Карамзину на равных — как творец творцу. Для его отношения к историку, как показал В. Э. Вацуру, это было характерно с самого начала — стремление к освобождению от «мягкого педагогического диктата» Карамзина<sup>45</sup>. Исследовав ситуацию, породившую эпиграмму «Послушайте, я сказку вам начну», Вацуру пришел к выводу, что ободрение, оказанное мэтром Пушкину при знакомстве с ним в Лицее 25 марта 1816 года, как раз и стало стимулом к ее созданию, поскольку было воспринято юным поэтом как «непроизвольное и незаслуженное унижение»<sup>46</sup>. Легкая задиристость и какая-то безапелляционность мнения Пушкина об «огромном словаре», выраженного в четверостишии «От многоречия отрекшись добровольно», могла быть реакцией на то наставление, которое преподавал Пушкину в Царском Селе Карамзин. Поэт посчитал, что имеет право заявить ему в ответ о своем опыте творческой работы и жизненных наслаждений.

Избрание Карамзина в Российскую академию было для «арзамасцев» весьма неоднозначным событием. Сам Карамзин, с неизменной насмешкой отзывавшийся об этом учреждении, подчеркивал, что его вступление было необходимо для распространения в среде косных академиков здравых суждений и взглядов. На это же, описывая первое выступление в академии Карамзина, делал упор в своем письме к Вяземскому и А. И. Тургенев. В академии Карамзин повел себя очень смело, сразу же предложив для чтения в ней фрагмент из своей «Истории...» об Иоанне Грозном, чем страшно перепугал Шишкова, бросившегося для разрешения подобного заседания к самому императору. Начало деятельности нового академика носило характер, располагающий к себе «арзамасцев», хотя можно с уверенностью сказать, что само по себе вступление Карамзина в шишковскую академию не могло вызвать в их среде всеобщего одобрения. Об этом можно судить по реакции «арзамасцев» на произошедшее несколько ранее избрание в Российскую академию Жуковского, которое было встречено градом насмешек со стороны Вяземского и Батюшкова<sup>47</sup>. Вяземский даже считал, что за Жуковским теперь нужно особо «следить», поскольку он «в первую субботу напьется с Карамзиным, а в другую с Шишковым»<sup>48</sup>. Вероятно, и эпиграмма Пушкина «От многоречия отрекшись добровольно» была отголоском подобной, чисто «арзамасской» реакции на вступление в ряды академиков того, кто еще недавно был знаменем «Арзамаса».

Четверостишие «От многоречия отрекшись добровольно» — совершенно уникальная для литературного процесса первой четверти XIX века эпиграмма, поскольку она одновременно задевала таких разноплановых литераторов, даже, можно сказать, антиподов, как Шишков и Карамзин... Для «арзамасца» Пушкина похвалы академическому

словарию в выступлении Карамзина могли выглядеть как отступление от выражавшихся им ранее убеждений. Показательно, что Пушкин, решившись летом 1824 года «толкнуть» с первой главой «Евгения Онегина» в цензуру, к тому времени уже возглавлявшуюся Шишковым, в шутку назвал себя в письме к брату «Иудой-Арзамасцем» (см.: XIII, 136). Неслучайно, комментируя речь историка, Ю. М. Лотман делал акценты, как, кстати, и А. П. Тургенев в приведенном выше письме, именно на тех моментах, где сквозь похвалы Российской академии можно было расслышать полемический голос Карамзина (мне кажется, молодой поэт эту скрытую полемику увидеть просто не захотел): «...признавая заслуги пуристов <т. е. составителей «Словаря Академии Российской»>, Карамзин не только положительно оценивает самый факт быстрых изменений в русской культуре (против чего резко выступал Шишков), но и широко использует слова типа “автор”, “феномен”, употребление которых означало отказ строить свою речь по нормам “Словаря Академии Российской”»<sup>49</sup>.

Речь Карамзина Пушкин дважды цитировал в своих произведениях (последний раз в статье «Российская академия»). Приведенное здесь высказывание Лотмана взято из его комментария к «Евгению Онегину». Связанные с карамзинской речью строки «Онегина» очень интересны и сложны для понимания. Хотелось бы несколько подробнее остановиться на них, тем более что этот момент истории романа имеет отношение к проблеме датировки эпиграммы «От многоречия отрекись добровольно». Сам факт неоднократного обращения Пушкина к речи Карамзина ставит комментатора перед необходимостью учета достаточно широкого временного промежутка, который способен в себя вместить датировку этого загадочного произведения.

Цитату из речи Карамзина Пушкин привел в одном из примечаний к стихам первой главы «Онегина». Когда и с какой целью оно писалось автором романа? Известно, что в первых числах ноября 1824 года Л. С. Пушкин увез с собой из Михайловского рукопись главы первой «Евгения Онегина». Долгое время автор романа писал его, не питая надежд на публикацию. Положение стало иным после «перемены министерства», т. е. после смещения в мае 1824 года кн. А. Н. Голицына и назначения на пост министра народного образования, а следовательно и главы цензуры, А. С. Шишкова. Однако даже это событие, вселяя некоторую надежду, не сулило «Евгению Онегину» безоговорочного успеха в цензурном ведомстве. Прохождение через него первой главы романа было обставлено рядом сопутствующих мер. Так, в самом начале октября 1824 года было написано «Второе послание к цензору» с несколькими комплиментарными строками в адрес Шишкова. Недаром Б. С. Мейлах назвал это стихотворение проявлением «реальной литературной политики Пушкина»<sup>50</sup>. В письме к Вяземскому от 25 января 1825 года Пушкин писал: «Онегин печатается... не ожидал я, чтоб он протерся сквозь цензуру — честь и слава Шишкову! Знаешь ты мое Второе послание цензору? Там между прочим <следуют ст. 30–38 о Шишкове из послания>». Своему отзыву о нем во «Втором послании...» Пушкин дал в письме следующую характеристику: «В подлостях нужно некоторое благородство. Я же подличал благонамеренно — имея в виду пользу нашей словесности и усмиренье кичливого Красовского <петербургского цензора>» (XIII, 136). В письме Пушкин намекнул Вяземскому на то, что Шишков знал о его стихах<sup>51</sup>. Чувство удовлетворения, с которым поэт писал о них Вяземскому, говорит о том, что его надежды вполне оправдались: 28 декабря 1824 года глава первая «Евгения Онегина» была прочитана Жуковским Шишкову<sup>52</sup>, а 29 декабря цензор А. С. Бируков подписал ее к печати.

История со «Вторым посланием к цензору» не исчерпывает всех мер, которыми Пушкин обставил свое детище при прохождении его через цензуру. В сентябре 1824 года он

начал составлять примечания к главе первой<sup>53</sup>, в одном из которых оказалась хвалебная цитата в адрес «Словаря Академии Российской» из речи Карамзина. Она предварялась словами Пушкина: «Нельзя не пожалеть, что наши писатели слишком редко справляются со словарем Российской Академии. Он останется вечным памятником попечительной роли Екатерины и просвещенного труда наследников Ломоносова, строгих и верных опекунов языка отечественного. Вот что говорит Карамзин в своей речи...» (VI 653). Примечание это было дано к следующим стихам строфы XXVI:

Но панталоны, фрак, жилет,  
 Всех этих слов на русском нет;  
 А вижу я, винюсь пред вами,  
 Что уж и так мой бедный слог  
 Пестреть гораздо б меньше мог  
 Иноплеменными словами.  
 Хоть и заглядывал я встарь  
 В Академический Словарь (VI, 16).

«Комментируемый стих, — писал Ю. М. Лотман, имея в виду начало этой цитаты, — представляет собой указание на отсутствие этих слов в “Словаре Академии Российской” и, следовательно, на отсутствие их в языке, с точки зрения авторов словаря»<sup>54</sup>. Сочетанию же этих стихов с примечанием Ю. М. Лотман дал комментарий, в котором подчеркнул противоречивость выраженной в них позиции Пушкина: «Для осмысленности текста примечания необходимо учитывать, что в нем Пушкин сопровождает стихи, содержащие осуждение карамзинской лексики с позиций шишковизма, высокой оценкой шишковской Академии, данной в форме цитаты из речи Карамзина»<sup>55</sup>. Во имя чего это делалось Пушкиным? Для чего ему понадобилось, в подтверждение слов Карамзина расточать уже от своего имени комплименты в адрес «просвещенного труда наследников Ломоносова, строгих и верных опекунов языка отечественного»? А это делалось Пушкиным ради все той же «реальной литературной политики». Примечание писалось для Шишкова: оно должно было смягчить ироничный выпад Пушкина по поводу академического словаря, не заметившего освоенных русским языком слов. Да и самого Пушкина с его «иноплеменными словами» оправдать в глазах Шишкова<sup>56</sup>. Когда же комплиментарное примечание «сработало» и первая глава благополучно вышла в свет первым изданием, Пушкин убрал его из текста «Евгения Онегина». Примечание о «строгих и верных опекунах языка отечественного» больше он в романе никогда не печатал, поскольку оно не отражало его позиции.

Отношение Пушкина как к «Словарю Академии Российской», так и к речи Карамзина оставалось весьма и весьма критичным. Рукописи строфы о «панталонах, фраке, жилете» обнаруживают намерение Пушкина выразить протест против «святыни академического словаря». Заявления о владении «скрижалями» российского языка были со стороны Шишкова и руководимой им академии очень агрессивны. А отсюда пушкинский черновой вариант строфы XXVI главы первой: «А мой торжественный словарь / Мне не закон как [было встарь]» (VI, 235). Но еще более решительно звучит у Пушкина финал этой строфы в белой рукописи главы: «Академический словарь / Мне не закон как было встарь» (VI, 548–549). Здесь усматривается самая непосредственная переключка со стихом эпиграммы «От многоречия отрекшись добровольно»: «В собранье полном слов не вижу пользы я». Смысл у этих стихов один и тот же. «...как было

истарь» в рукописях Пушкина — это, скорее всего, намек не на самого автора, который в прошлом справлялся с академическим словарем, а на давным-давно ушедшую эпоху, для которой словарь был «законом».

Обращение к речи Карамзина при написании примечания к стихам об академическом словаре оставило в занятиях Пушкина еще один след. Вообще, похоже, эта речь существовала в сознании Пушкина как сгусток эмоций, требовавших каких-то полемических откликов... Вот что Карамзин сказал о Екатерине II при вступлении в Российскую академию (эти слова также вошли к цитату, приведенную Пушкиным в примечании к «Онегину»): «Екатерина Великая... Кто из нас и в самый цветущий век Александра I может произносить имя ее без глубокого чувства любви и благодарности?...»<sup>57</sup>. Вот на этот-то вопрос и ответил Пушкин в своей сатире на Екатерину II «Мне жаль великия жены», написанной в том же сентябре, что и примечание об академическом словаре: в этом стихотворении в чисто одических выражениях «любви и благодарности» к «великой жене» он дал очерк ее блудливой, суетной и тщеславной жизни<sup>58</sup>. «Мне жаль великия жены, / Жены, которая любила / [Все роды славы:] дым войны / И дым парнасского кадила» (II, 341) — начальные строки пушкинского стихотворения переключаются со словами Карамзина о том, что Екатерина любила «славу России как собственную, и славу побед, и мирную славу разума»<sup>59</sup>. Возможно, «Мне жаль великия жены» создавалось с мыслью об известной по воспоминаниям Пушкина о Карамзине шалости «некоторых остряков», которые «за ужином переложили первые главы Тита Ливия слогом Карамзина» (В. Э. Вацура считал, что среди них был и Пушкин): «Римляне времен Тарквиния, не понимающие *спасительной пользы самодержавия*, и Брут, осуждающий на смерть своих сынов, *ибо редко основатели республик славятся нежной чувствительностию*, конечно, были очень смешны» (XI, 306). В сатире «Мне жаль великия жены» была сделана попытка такого же рода: в ней очерк жизни «милой старушки» Екатерины был пропущен Пушкиным через стилистику высокой оды.

Итак, впечатления Пушкина от речи Карамзина оставались для него источником живого полемического отклика и Михайловской осенью 1824 года. Поэтому едва ли правомочно четверостишие «От многоречия отрехшись добровольно» датировать, как это делается в целом ряде изданий, мартом-апрелем 1825 года, когда Тетрадь Всеволожского находилась в распоряжении Пушкина. При недостаточности сведений об этом произведении Пушкина (а предложенная в настоящей статье концепция носит, конечно же, гипотетический характер), думаю, самым разумным будет сохранение в датировке эпиграммы достаточно широкого временного промежутка: сентябрь (не ранее 22) 1818 — конец апреля 1825 года. При этом дата, диктуемая чисто текстологическими соображениями (1825), привносит в комментарий эпиграммы ряд очень сложных проблем.

Все без исключения произведения, копии которых были вписаны в 1819–1820 годах в Тетрадь Всеволожского, рассматривались Пушкиным под углом зрения уместности их на странице его первого поэтического сборника. Даже те, которые он зачеркнул, в какой-то момент казались ему вполне этого достойными. Текст на полях лицейской «Розы» — это не черновой текст сатиры на полях онегинского черновика в рабочей тетради Пушкина. Если он оказался в Тетради Всеволожского, значит, какие-то предположения относительно опубликования эпиграммы «От многоречия отрехшись добровольно» у поэта были! Но кем хотел быть услышан автор эпиграммы? Карамзиным? Он бы, конечно, мог узнать в словах о бесполезности «полного собранья слов» реплику на свое выступление в Российской академии. А может быть, Шишковым? Глава Российской академии, без сомнения, сразу бы распознал, что за

«полное собрание слов» имеет в виду Пушкин. Кстати, Шников очень ревностно отнесся к проявлениям в русской печати неуважения по отношению к возглавляемой им академии. Спуску журналистам он не давал, поэтому на уколы в «Северной почте» или «Сыне отечества» не отмалчивался, а отвечал гневными и угрожающими письмами (вот очень характерная для него фраза, сказанная в ответ на выпад одного журналиста в адрес академии: «...я не позволю никому себя колоть, и сам гораздо больше уколю») <sup>60</sup> «Нетерпимость Шникова для всякой — даже самой умеренной — критике его языковых воззрения, — пишет О. Проскурин, — ни для кого не была секретом» <sup>61</sup>. Характерно, что Пушкин, неоднократно, с лицейских времен, высмеивавший Шникова в своих произведениях, никогда не задевал его в печати. Странно было бы, если бы он захотел сделать это в 1825 году — и это после тех усилий, которые предпринял в 1824-м, чтобы расположить к себе главу тогдашнего цензурного ведомства! Даже черта, которой Пушкин перечеркнул свою эпиграмму, не снимает этих вопросов, которые при обнаружении антишниковского пафоса эпиграммы встают перед текстологом, пытающимся дать ее датировку. Именно поэтому следует отказаться от однозначного отнесения эпиграммы к 1825 году. Эпиграмма как отклик на заметное событие литературной жизни России 1818–1819 годов создавалась Пушкиным, по-видимому, ранее 1825 года.

### Примечания

<sup>1</sup> Приношу благодарность Н. А. Карпову за участие в подборе библиографии о стихотворении и обсуждении проблем, связанных с его датировкой и комментированием.

<sup>2</sup> Известия ЦИК СССР. 1934. 6 июня. С. 5.

<sup>3</sup> По шифру Пушкинского Дома, где хранится рукопись, это ПД 847, л. 12.

<sup>4</sup> О Тетради Всеволожского см.: *Томашевский Б. В.* 1) Новые материалы по истории первого собрания стихотворений Пушкина (1826). I. Тетрадь Всеволожского // *Литературное наследство*. М., 1934. Т. 16–18. С. 825–842; 2) *История Тетради Всеволожского // Летописи Гос. литературного музея*. М., 1936. Кн. 1: Пушкин. С. 30–79.

<sup>5</sup> Известия ЦИК СССР. 1934. 6 июня. С. 5.

<sup>6</sup> *Томашевский Б. В.* История Тетради Всеволожского. С. 62.

<sup>7</sup> Там же. См. также комментарий стихотворения в изд.: *Пушкин А. С.* Стихотворения: В 3 т. / Вступ. ст., подгот. текста и прим. Б. В. Томашевского. Л., 1955. Т. 3. С. 811 (Б-ка поэта. Большая сер.).

<sup>8</sup> См., напр.: *Пушкин А. С.* Собр. соч.: В 10 т. М.: Худож. лит., 1974. Т. 2. С. 557.

<sup>9</sup> Известия ЦИК СССР. 1934. 6 июня. С. 5. См также: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. 2-е изд. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. 2. С. 435.

<sup>10</sup> *Томашевский Б. В.* История Тетради Всеволожского. С. 62.

<sup>11</sup> *Цявловский М. А.* Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. 2-е изд., испр. и доп. Л.: Наука, 1991. [Т. 1]: 1799–1826. С. 14.

<sup>12</sup> Факсимиле автографа см.: *Литературное наследство*. Т. 16–18. С. 833.

<sup>13</sup> Известия Российской Академии. СПб., 1815. Кн. 1. С. 17–18. В статье речь идет о «корневом» словаре, задуманном Шишковым.

<sup>14</sup> См.: *Сухомлинов М. И.* История Российской академии. СПб., 1888. Вып. 8. С. 217.

<sup>15</sup> *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1883. Т. 8. С. 90.

<sup>16</sup> *Булич С. К.* Очерк истории языкознания в России. СПб., 1904. Т. 1 (XVIII в. — 1825 г.). С. 947–1003.

<sup>17</sup> Материалы из «собрания областных слов» печатались в «Трудах Общества любителей российской словесности», начиная с 1819 г.

<sup>18</sup> *Булич С. К.* Очерк истории языкознания в России. С. 1003.

<sup>19</sup> Русская речь. 1977. № 3. С. 12–20.

<sup>20</sup> Там же. С. 15.

<sup>21</sup> Неровность суждений Пушкина о втором издании «Словаря Академии Российской» делает возможным и такое предположение: возможно, поэт имел самые туманные представления о холде

работы над ним. А может быть, он вообще не заметил, когда это издание началось, когда закончилось, как выходили тома? В таком случае высказывание Пушкина о судьбе слова «вольнoлюбивый» можно отнести к числу простых совпадений: он, и не заглядывая в академический словарь, нашёл, что этого слова в нем быть не могло.

<sup>22</sup> Об одном из эпизодов общения Пушкина с Павским, также связанном с лингвистическими занятиями, а именно — с изучением древнееврейского языка, см.: *Березкина С. В.* Записки книжка Пушкина ПД 840: (История заполнения) // Пушкин. Исследования и материалы. СПб., 2003. Т. 16–17. С. 87.

<sup>23</sup> Известия Российской академии. 1815. Кн. 1. С. 9.

<sup>24</sup> См.: *Виноградов В. В.* Избр. труды: Лексикология и лексикография. М., 1977. С. 218–219 (статья «Толковые словари русского языка»).

<sup>25</sup> Очень интересные и здравые наблюдения такого рода над рядом высказываний Пушкина, причем не только молодого, см. в кн.: *Формозов А. А.* Классики русской литературы и историческая наука. М., 1995. С. 45–61.

<sup>26</sup> Речь Карамзина стала предметом восторженного разбора в кн.: *Кошанский Н. Ф.* Частная риторика. СПб., 1832. С. 109–114. См. об этом: *Михайлова Н. И.* Карамзин-оратор // Н. М. Карамзин. Юбилей 1991 г.: Сб. науч. статей. М., 1992. С. 31–37.

<sup>27</sup> Ср.: «И жизнь наша и жизнь империй должны содействовать раскрытию великих способностей души человеческой: здесь все для души, все для ума и чувства; все бессмертие в их успехах! Сия мысль, среди гробов и тления, утешает нас каким-то великим утешением» (*Карамзин Н. М.* Соч.: В 2 т. / Сост., комм. Г. П. Макогоненко. Л., 1984. Т. 2. С. 176).

<sup>28</sup> Ср.: «Великий Петр, изменив многое, не изменил всего коренного русского, для того ли, что не хотел, для того ли, что не мог: ибо и власть самодержцев имеет пределы» (там же, с. 174).

<sup>29</sup> Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 1. С. 167–168.

<sup>30</sup> Там же. С. 123.

<sup>31</sup> Старица и новизна. 1897. Кн. 1. С. 63.

<sup>32</sup> *Эйдельман Н.* Пушкин: Из биографии и творчества. 1826–1837. М., 1987. С. 193.

<sup>33</sup> См.: Там же. С. 193–198.

<sup>34</sup> *Вацуро В. Э.* Пушкинская пора. СПб., 2000. С. 106.

<sup>35</sup> Там же. С. 107.

<sup>36</sup> *Цявловский М. А.* Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. С. 166.

<sup>37</sup> На недостаточность источниковой базы этого сообщения «Летописи...» обращено внимание в ижд.: *Шакирова Л. Г.* Еще раз об «одной из лучших русских эпиграмм» // Н. М. Карамзин: Юбилей 1991 г. Сб. науч. трудов. М., 1992. С. 96.

<sup>38</sup> См.: *Вацуро В. Э.* Пушкинская пора. С. 85–109; *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб., 1999. Т. 1. С. 681–684.

<sup>39</sup> *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 2. С. 169–170.

<sup>40</sup> Там же. С. 170.

<sup>41</sup> Там же. С. 172.

<sup>42</sup> Там же. С. 174–175.

<sup>43</sup> Там же. С. 175.

<sup>44</sup> Так и видится, если можно об этом сказать в примечании, как царскосельская аудитория со значением посмотрела на молодого поэта и как он при этом вспыхнул.

<sup>45</sup> *Вацуро В. Э.* Указ. соч. С. 92.

<sup>46</sup> Там же. С. 91.

<sup>47</sup> См.: «Арзамас»: Сб. в 2 кн. / Под ред. В. Э. Вацуро, А. Л. Осповата. М., 1994. Кн. 2. С. 365 (письмо К. Н. Батюшкова к Д. Н. Блудову от начала ноября 1818 г.), 367 (его же к А. И. Тургеневу от 24 марта 1819 г.), 378 (П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу от 8 ноября 1818 г.), 417–418 (его же к Д. В. Дашкову от 2/14 ноября 1818 г.).

<sup>48</sup> См.: Остафьевский архив. Т. 1. С. 129 (письмо к А. И. Тургеневу от 13 октября 1818 г.).

<sup>49</sup> *Лотман Ю. М.* Пушкин: Биография писателя. Статьи и заметки (1960—1990). «Евгений Онегин»: Комментарий. СПб., 1997. С. 576.

<sup>50</sup> *Мейлах Б. С.* Пушкин и русский романтизм. Л., 1937. С. 75.

<sup>51</sup> См. об этом: *Пушкин А. С.* [Собр. соч.] / Под ред. С. А. Венгеров. СПб.: Изд. Брокгауз — Ефрона, 1909. Т. 3. С. 527 (комм. Н. О. Лернера).

<sup>52</sup> См.: *Сербитович К. С.* Николай Михайлович Карамзин // *Русская старина*. 1874. № 9. С. 75.

<sup>53</sup> О датировке см.: *Фомичев С. А.* Рабочая тетрадь Пушкина ПД № 835: (Из текстологических наблюдений) // *Пушкин. Исследования и материалы*. Л., 1983. Т. 11. С. 41.

<sup>54</sup> *Лотман Ю. М.* Указ. соч. С. 575.

<sup>55</sup> Там же. С. 576.

<sup>56</sup> Об иронии, звучащей в примечании Пушкина об академическом словаре, см.: *Проскурина О.* Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М., 1999. С. 345–347.

<sup>57</sup> *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 2. С. 170.

<sup>58</sup> О замысле этого стихотворения см.: *Березкина С. В.* Екатерина II в стихотворении Пушкина «Мне жаль великия жены» // XVIII век. СПб., 1999. Сб. 21. С. 412–421; *Левкович Я. Л.* «Мне жаль великия жены» (Наблюдения над текстом) // *Пушкин и его современники*. СПб., 2002. Вып. 3 (42). С. 301–306.

<sup>59</sup> *Карамзин Н. М.* Соч. Т. 2. С. 170.

<sup>60</sup> *Шишков А. С.* Записки, мнения и переписка. Berlin, 1870. Т. 2. С. 342.

<sup>61</sup> *Проскурина О.* Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. С. 347.